

**Русское и имперское во второй половине XIX — начале XX в.: конфликт или единство?\***

*Olga Belousova*

*(Lomonosov Moscow State University, Russia)*

**Russian and Imperial in the second half of the 19<sup>th</sup> — early 20<sup>th</sup> century: conflict or unity?**

DOI: 10.7868/S3034579025060261

Проблема соотношения русского и имперского в общественном мнении и политической жизни России, впервые чётко обозначенная в полемике славянофилов и западников, обрела в пореформенный период и особенно в конце XIX — начале XX в. качественно новое содержание. На фоне происходившей модернизации русская образность стала важнейшим элементом официальных репрезентаций самодержавной власти, которая всё сильнее акцентировала органическое единство русского (т.е. фактически допетровского) и имперского, ставшего по воле Петра Великого на символическом уровне отрицанием прошлого и рецепцией европейского. Эти попытки соединить не то чтобы объективно противоречившие друг другу, но для обыденного восприятия действительно трудно соединимые феномены накладывались на трансформацию общества, обострявшую в нём внутренние конфликты. Анализу данных процессов и посвящена новая фундаментальная монография М.В. Лескинен.

Исследовательница стремится реконструировать визуальные стереотипы русскости, которые существовали в общественном мнении России второй половины XIX — начала XX в. (при этом она часто обращает внимание и на более ранние периоды,

вплоть до первых лет петербургской империи) и «тиражировались для массового потребления». Тем самым она продолжает работы Е.А. Вишленковой, изучившей их бытование в период, предшествовавший эпохе Великих реформ (I, с. 24–25)<sup>1</sup>. Очевиден междисциплинарный характер данного труда, написанного с учётом подходов «национальной имажинерии» (I, с. 17–19), исторической памяти (I, с. 21–23), визуальной антропологии (I, с. 23–24), антропоэстетики (I, с. 44–45, 90–93). Вместе с тем Лескинен признаётся, что ей «пока не удалось чётко и однозначно разграничить» категории имперского, национального и этнического при характеристике «визуальных образов русскости» (I, с. 12).

Автор активно использует не только изобразительные, но и нарративные источники, причём для неё важны не столько описания, сколько встречающиеся в них оценочные суждения (I, с. 12). Но тут любая выборка окажется неполной. Например, освещая реакцию на русскую экспозицию, представленную на Парижской выставке 1867 г., Лескинен цитирует статью К.Н. Леонтьева «Грамотность и народность» (I, с. 141–145), но упускает из виду и не учитывает множества других отзывов о тех же

\* Лескинен М.В. Визуальные репрезентации русскости в Российской империи второй половины XIX — начала XX в. В 2 кн. Кн. 1. Облики — обличья — облачения. 720 с., ил. (I); Кн. 2. Русское зеркало. 400 с., ил. (II). М.: Кучково поле Музеон, 2024.

экспонатах и их восприятии, публиковавшихся в русских газетах, например, в «Голосе»<sup>2</sup>. Возможно, так же выгодно дополнило бы воссоздаваемую исследовательницей картину обращение к описанию Ф.М. Достоевским Лондонской выставки 1862 г., точнее, грандиозного Хрустального дворца, возведённого в британской столице ещё в 1851 г. Писатель уподобляет его библейскому Ваалу и ярко передаёт то воздействие, которое это здание производит на «голодную душу»<sup>3</sup>. Конечно, Лескинен интересуют исключительно представление и восприятие русскости (I, с. 126–127). Однако и русский взгляд на символ британской имперскости в данном контексте был бы вполне уместен, особенно во введении, озаглавленном «Всемирные выставки как “смотры” наций: формирование имиджа» (I, с. 124).

К сожалению, не всегда понятны авторские критерии при оценке успешности той или иной репрезентации. Так, Лескинен считает, что на Чикагской выставке 1893 г. «национальная репрезентация» России имела успех благодаря продуманности экспозиции (I, с. 199), но этот вывод не подтверждается ссылками на свидетельства современников. Говоря же о Парижской выставке 1900 г., исследовательница отмечает, что, по мнению современников и историков, российское присутствие выглядело весьма удачно, однако её их доводы не убеждают. Она сетует на то, что расположение русских павильонов будто бы усиливало их обособленность от ведущих европейских стран, указывая на намерение организаторов сформировать представление о них как о второсортных (I, с. 200), к тому же при устройстве экспозиции не получилось отказаться от прежних «клишированных представлений» при репрезентации русскости (I, с. 209). Между тем, судя по приведённым в книге

фактам, ожидаемые впечатления от привычных её выражений не вызвали негативных эмоций, а суждения отдельных критически настроенных отечественных наблюдателей явно не были определяющими (I, с. 208).

Пристальное внимание в книге уделено проблеме национального костюма и моде на русскую одежду при дворе. Прослеживаются шаги, сделанные в этом направлении в первой половине XIX в., отмечена попытка внесения элементов народного крестьянского костюма в армейскую униформу во время Крымской войны и рассмотрены аналогичные начинания, предпринятые при Александре II в связи с подготовкой военной реформы. Впрочем, как известно, апогей влияния национальных мотивов на обмундирование войск пришёлся уже на царствование Александра III. Тогда же, в 1880-х гг., по мнению Р. Уортмана, при репрезентации самодержавной власти стали активно использовать образы допетровской Москвы, что и продолжалось вплоть до 1917 г. Соглашаясь с американским русистом, исследовательница пишет, что вводимые изменения затрагивали именно «символику историческую» (I, с. 273).

Лескинен предельно пунктуальна в атрибуции деталей форменной одежды. Так, она установила, что красная косоворотка, которую любил носить Николай II, являлась «не просто мужицкой рубахой», а «элементом формы стрелков», о чём знали далеко «не все» (I, с. 280). Более того, похоже, об этом не догадывались даже близкие к императору персоны. К примеру, гр. С.Д. Шереметев, регулярно бывавший на аудиенциях у царя, часто отмечал, что «государь был в обычной красной рубашке», «по обычаю в красной рубашке» или даже «как всегда в красной рубашке», иногда «с накидкой», но при этом он ни разу не указал на её связь с униформой<sup>4</sup>.

Вряд ли стоит вслед за автором книги в размышлениях министра внутренних дел Д.С. Сипягина о «введении боярских элементов костюма в мужской придворный и военный мундиры» видеть один из «предполагавшихся к реализации проектов» (I, с. 644). О подобных намерениях данного сановника, пусть и влиятельного, но далеко не всесильного, известно лишь из источников личного происхождения, тогда как в официальных документах нет ничего, что позволяло бы утверждать, будто Николай II планировал «введение “боярского” стиля в придворные мундирные платья» (I, с. 365). Собственно, и сама Лескинен сомневается в том, насколько оправданно Уортман считал, что Сипягин успел предпринять практические шаги по привнесению черт XVII в. в придворный церемониал (I, с. 281–282). Вместе с тем она пишет, что на рубеже XIX–XX вв. сложилось «поддерживавшееся лично императором представление об исторических элементах русского национального костюма», в основе которого лежал именно образ элиты допетровской Москвы — бояр, стольников и т.д., а вовсе не «великорусский крестьянский костюм» (I, с. 287). Но тогда непонятно, откуда взялись подобные предпочтения, если «боярство» кроме Сипягина никто не пропагандировал? И действительно ли в окружении царя, присматриваясь к боярским нарядам, «не рассматривали их в качестве альтернативы народному крестьянскому платью», исходя из того, что московская одежда XVI–XVII вв. не имела «никаких ярких сословных различий», кроме богатства и качества (I, с. 313)? Всё же для обоснования данного вывода явно недостаточно ссылки на то, что так думали И.Е. Забелин и Н.И. Костомаров (I, с. 400).

Лескинен почему-то противопоставляет «униформу» облачениям,

использовавшимся для «досуга и отдыха» (I, с. 316), хотя и упоминает, что для придворных балов в эпоху Николая I предписывался «дамский мундир» (I, с. 253). Любопытно также, что ещё с середины XVIII в. при дворе возникла традиция устраивать русские народные танцы (I, с. 323). А при Николае I уже регулярно проводились всесословные «балы с мужиками», когда на царский праздник приглашались простолюдины (I, с. 338). Особенно же ярко репрезентация русскости проявлялась с 1883 г. на костюмированных балах, участники которых наряжались по образцам XVI–XVII вв. Самый известный из них состоялся в Зимнем дворце в феврале 1903 г. (I, с. 483–484). Лескинен, не приводя никаких доказательств, то связывает его с 200-летием основания Санкт-Петербурга (I, с. 344), то называет «приуроченным к 290-летию юбилею дома Романовых» (I, с. 509). Действительно, было бы более чем странно отмечать юбилей столицы Российской империи в допетровской стилистике.

Не исключено, что этим масштабным зрелищным событием император сознательно предвосхищал издание программного Манифеста 26 февраля 1903 г., подписанного Николаем II в день рождения Александра III и одновременно объявлявшего о преемственности правительственной политики и намечавшего её новый этап. Однако и такое предположение ничем не подтверждается. Но ещё менее вероятно, будто, как пишет Лескинен, императрице хотелось провести нечто, напоминающее Девоширский бал 1897 г. в Лондоне (I, с. 485). Скорее уж на царскую чету произвело впечатление то, как на Светлой седмице в 1900 г. её чествовало московское дворянство (I, с. 485). Гр. Шереметев в тот день даже спорил с императором о том, какие именно эпохи изо-

бражались при этом действе. А вел. кн. Сергей Александрович, сообщая брату, вел. кн. Павлу Александровичу, о прошедшем накануне приёме, особо упомянул про танцы, символизировавшие исторические «периоды» — Владимирский, Московский, Петровский, Екатерининский и Александровский<sup>5</sup>. Лескинен пользовалась изданием, в котором приведены эти свидетельства, прозрачно указывающие на связь между событиями 1900 и 1903 гг., но исследовательница предпочла их не заметить. По её мнению, организатором «московского пира» являлся, «вероятнее всего», Сипягин (I, с. 603), однако доказать это едва ли возможно.

Как бы то ни было, нельзя не признать, что костюмированный бал 1903 г. — «это не совсем маскарад, это иное» (I, с. 496). По сути, царь и царица демонстрировали своему окружению, как они видят и чувствуют глубинную онтологию самодержавной власти, не скрывая ни идеализации прошлого, ни презрения к современной действительности. Почти за два года до этого, 3 мая 1901 г., Николай II разрешил гр. Шереметеву напечатать письмо отца, тогда ещё наследника престола, признававшегося 10 марта 1880 г. К.П. Победоносцеву в том, что испытывает зависть к «людям, которые могут жить в глуши и приносить истинную пользу и быть далеко от всех мерзостей городской жизни, а в особенности петербургской». При этом император сказал графу: «Да ведь и теперь она та же»<sup>6</sup>.

Не менее показательно и то, что художник П.В. Жуковский, который был вхож к Николаю II и Александре Фёдоровне, хвалил им «национальные русские костюмы» и имел непосредственное отношение к подготовке бала 1903 г., споря в конце декабря 1902 г. с министром императорского двора бароном В.Б. Фредериксом, называл

Петра I «врагом России». Лескинен усматривает в данной полемике лишь очередное проявление «оппозиции “фрак — кафтан”» (I, с. 484), которая обсуждалась на страницах «Московских ведомостей» ещё в 1846 г. (I, с. 365–369). В то время, как показано в книге, среди современников преобладало карнавальное восприятие «русской традиционной одежды» (I, с. 369).

Однако в конце XIX — начале XX в. отношение к ней заметно изменилось. В 1880-е гг. К.Н. Леонтьев уже радовался тому, что *«мы не присоединили Царьграда в 1878 году»* и *«даже не вошли в него»*, поскольку *«тогда мы вступили бы в Царьград этот (во французском кепи) с общеевропейской эгалитарностью в сердце и уме»* (здесь и далее курсив Леонтьева. — О.Б.). Теперь же мыслитель ожидал, что русские вернутся на Босфор «именно в той шапке-мурмолке, над которой так глупо смеялись наши западники». *«Да, заметьте, заметьте это: не только либерализм, но и кепи; не только реакция, но и шапка-мурмолка...»*, — писал Константин Николаевич. — *...Шапка-мурмолка, кепи* и тому подобные вещи гораздо важнее, чем вы думаете; внешние формы быта, одежды, обряды, обычаи, моды, — все эти разности и оттенки общественной эстетики *живой*, не той т.е. эстетики отражения или кладбища, которой вы привыкли поклоняться, часто ничего не смысля, в музеях и на выставках, — все эти внешние формы, говорю я, вовсе не причуда, не вздор, не чисто “внешние вещи”, как говорят глупцы; нет, они суть неизбежные последствия, органически вытекающие из перемен в нашем внутреннем мире; — это неизбежные пластические символы идеалов, внутри нас созревших или готовых созреть»<sup>7</sup>. В 1889 г. Леонтьев начал письмо к А.А. Фету эпиграфом, обыгрывавшим строки лермонтовского

стихотворения «Журналист, читатель и писатель»: «Когда же на Руси бесплодной / Жизнь обретёт кафтан цветной / И стиль одежды благородный». Затем, развивая свою мысль, он заявлял, что «чёрный фрак» и современная европейская одежда напоминают ему о «куцом трауре, который Запад надел с горя по своему великому, религиозному, аристократическому и артистическому прошедшему»<sup>8</sup>. К сожалению, эти настроения, которые не были чужды тому же Жуковскому и его единомышленникам, не получили в книге должного осмысления.

Во второй книге исследования анализируются самые разные визуальные образы — от произведений живописи, нумизматики и монументального искусства до прессы и рекламы. Рассказывая о них, Лескинен углубляется в детали и частности, которые призваны буквально проиллюстрировать наблюдения и выводы, изложенные в первой книге. При этом автор обращается не только к исследуемой эпохе, но и ко времени после февраля 1917 г., что уже вряд ли корректно в рамках заявленной темы. Пожалуй, было бы логичнее выстроить текст монографии по хронологическому принципу и проследить эволюцию феномена русскости по эпохам, не разнося в разные тома концептуальное и конкретизирующее. Впрочем, и предложенное исследованием деление материала не затрудняет чтение её работы.

Изучая формы и образы русскости в вестернизированной петербургской монархии, М.В. Лескинен в сво-

ём, бесспорно, ценном труде обращает внимание прежде всего на конфликтную сторону сложного двухвекового взаимопроникающего сосуществования русского и имперского. Между тем оба этих начала не только (и даже не столько) противостояли друг другу, сколько дополняли друг друга, о чём, вероятно, ещё напишут будущие исследователи.

## Примечания

<sup>1</sup> Болтунова Е.М., Лескинен М.В. «Говоря о другом, описывая другого, наблюдатель гораздо больше сообщает о себе, чем о нём». Интервью с Марией Войттовной Лескинен // Славянский мир в третьем тысячелетии. 2022. Т. 17. № 1–2. С. 208–209.

<sup>2</sup> Отчасти они отражены в комментариях к леонтьевским статьям: Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений и писем. В 12 т. / Под ред. В.А. Котельникова и О.Л. Фетисенко. Т. 7. Кн. 2. СПб., 2006. С. 536–537, 569–570.

<sup>3</sup> Достоевский Ф.М. Зимние заметки о летних впечатлениях // Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. В 30 т. Т. 5. Л., 1973. С. 69–70.

<sup>4</sup> РГАДА, ф. 1287, оп. 1, д. 5053, л. 40; д. 5055, л. 183; д. 5060, л. 5, 167.

<sup>5</sup> Великая княгиня Елисавета Феодоровна и император Николай II. Материалы и документы (1884–1909 гг.) / Сост. А.Б. Ефимов, Е.Ю. Ковальская. СПб., 2009. С. 502–503.

<sup>6</sup> РГИА, ф. 1088, оп. 2, д. 9, л. 69; Письмо цесаревича Александра Александровича к К.П. Победоносцеву // Старина и новизна. Исторический сборник. Кн. 5. СПб., 1902. С. 1.

<sup>7</sup> Леонтьев К.Н. Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения // Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений и писем. В 12 т. / Под ред. В.А. Котельникова и О.Л. Фетисенко. Т. 8. Кн. 1. СПб., 2007. С. 231–233.

<sup>8</sup> Леонтьев К.Н. Не кстати и кстати (письмо А.А. Фету по поводу его юбилея) // Там же. С. 625, 636.